

«Петербургский ребенок» в поэзии

Тема ребенка в петербургской поэзии появляется сравнительно поздно. Она неуместна в поэтических текстах XVIII — начала XIX в., стремившихся прежде всего раскрыть государственное значение города, его историю, петровскую тему и пр. Вначале это одическая поэзия, позже — идиллически-описательная; и интерес к «социальному лицу» Петербурга, если и возникает, ориентирован на эти жанры. Теме детства здесь места нет.

Возникая лишь в эпоху романтизма, она сразу обнаруживает свою несовместимость с тем образом города, который культивировался высокой поэзией.

Так, стихотворение Е.Ф. Розена «Пастуший рог в Петербурге» (1832) строится на противопоставлении «столицы пышной» «бесчувственных людей» звуку утреннего пастушеского рога, внятного для поэта, который «радуется детски» и надеется сохранить — как кажется, безосновательно — «в тревоге шумной» эту «нежную детскость» (1). «Детское» здесь, понятно, выступает лишь в качестве атрибутивного, знакового обозначения «сердечной простоты».

Когда «петербургский ребенок», в позднеромантической поэзии, наконец, является как персонаж, то самой выразительной его чертой оказывается контраст с «городом пышным», противостоящим ему. Это происходит в жанре романтической поэмы, раньше всего — в незаконченной лермонтовской «Сказке для детей» (1839–1840), в которой дочь «старика художника» растет в петербургском «тихом доме»:

...Всегда одна, запугана отцом
И англичанки строгостью небрежной...

Обстановка детства определяет ее характер:

...Она была стройна, но с каждым днем
С ее лица сбегали жизни краски,
Задумчивей большие стали глазки... (2).

Е.М. Табориская, анализируя образ «уединенного ребенка» в «Сказке для детей», сопоставляет его с поэмой А.К. Толстого «Портрет» (1872–1873). Хотя «Портрет» написан в начале 70-х годов, но, как справедливо показывает исследовательница, действие в этих двух «петербургских поэмах» относится к одному периоду — рубежу 1820–1830-х гг. В обоих произведениях Петербург предстает как «город пышный»: действие разворачивается в фамильном доме князя — у Лермонтова, и в богатом особняке на Фонтанке — у Толстого. И лермонтовская Нина, и безымянный герой Толстого — одиноки и ведут замкнутую жизнь, они мечтатели, убегающие в царство своей мечты от реальной действительности. Оба сюжета оборваны на ожидании бала. У Толстого основой сюжета становится болезненная мечта подростка оживить висящий на стене портрет красавицы — мечта, перерастающая в фантом, столь характерный для поэтики романтизма (3).

Развитие темы «петербургского ребенка» в поэзии начинается, таким образом, на верхнем ее возрастном рубеже. Оба героя, вообще говоря, уже не дети, но показательное внимание и Лермонтова, и Толстого к предыстории сюжета, именно к детским годам героев, когда складываются их характеры и судьбы.

В дальнейшем этот сюжетный «извод» детской темы сохраняет и фантастический элемент, и повышенное внимание к социально-бытовой обстановке детских лет. Тип ребенка-страдальца получает свое концептуальное завершение в соединении детской темы с петербургской мифологией и историей: формируется образ ребенка страдающего, больного, умирающего от обстоятельств самой петербургской жизни. Такой ребенок-жертва, заложник родного города — герой поэтических сюжетов уже второй половины XIX века.

В стихотворении Я.П. Полонского «Миазм» (1868) ребенок оказывается жертвой страшного «смертного дыхания» тех, на чьих костях стоит Петербург, кто погиб при строительстве города и оказался похороненным под фундаментом дома. Ребенок здесь — центральный персонаж, хотя и не появляющийся перед читателем, — его сюжетная роль исчерпывается болезнью и смертью «за кадром»:

...Няня в кухне плачет, повар снял передник,
Перевязь — швейцар:
Заболел внезапно маленький наследник —
Судороги, жар...

Именно эта смерть заставляет в финале хозяев «шумного» и «роскошного» дома-дворца покинуть его и уехать из города. Причину же этой страшной и неожиданной смерти открывает обезумевшей от горя матери сам убийца.

«Мужик косматый, точно из берлоги» вылезает из щели в полу — и оказывается духом одного из подневольных строителей Петербурга, погибшего и похороненного прямо под полом особняка:

«Ты меня не бойся — что я? мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил...»

Важно, что эта смерть — не месть «мужичонки», а предопределенная судьба младенца, рожденного в «нездоровом», проклятом месте (4).

У многих современников Полонского интерес к образу ребенка-страдальца провоцировался вниманием к социальной тематике, актуализировавшейся, как известно, прежде всего в прозе во многом под влиянием определенных жанров (святочного рассказа, бытового очерка). Но и в петербургской поэзии эта общелитературная традиция живет, обретая собственный колорит. Главная роль тут принадлежит Н.А. Некрасову. В его цикле «О погоде» (1859–1865) петербургские дети упоминаются многократно и настойчиво. Так, при взгляде на вывеску гробовщика у некрасовского героя рождается монолог в его адрес:

...Человек ты, я знаю, хороший,
Да многонько родил ты детей —
Непрестанные нужны заказы...

Воплем-монологом венчается описание «нашей улицы»:

...Этот омут хорош для людей,
Расставляющих ближнему сети,
Но не жалко ли бедных детей!
Вы зачем тут, несчастные дети?
Неужели душе молодой
Уж знакомы нужда и неволя?
Ах, уйдите, уйдите со мной
В тишину деревенского поля!
...

Нет! Вам красного детства не знать,
Не прожить вам покойно и честно.
Жребий ваш... но к чему повторять
То, что даже ребенку известно?

Можно вспомнить здесь и знаменитый некрасовский призыв не ставить «... за каретой гвоздей, / Чтоб, вскочив, накололся ребенок!» (5).

Тема «бедного» петербургского ребенка, сюжетно эксплицированная Полонским и соединенная с некрасовским социальным пафосом, позже всплывает, варьируясь, у авторов конца XIX века.

Экстраполяцию темы находим у Ф.К. Сологуба («Вот у витрины...», 1892):

Вот у витрины показной
Стоит, любуясь, мальчик бедный.
Какой он худенький и бледный,
И некрасивый, и больной! (6),

у В.В. Князева («Дети каменной неволи...», 1914):

Дети каменной неволи
Многоярусных гробниц!
Не бывать в зеленом поле,
Не слышать весенних птиц!..(7).

Также — у А.А. Блока («В октябре»), Д.М. Цензора («Маленький газетчик») и т. д.

В начале XX века тип больного, страдающего петербургского ребенка сюжетно исчерпал себя, перейдя в статус клише. Соответственно, традиция размывается, и происходит это двояким образом.

Первый — это уход от живописания и разработки типа к поэзии намека, отсылок — то, что мы находим в зачине стихотворения О.Э. Мандельштама «Ленинград» (1930), с его «болезненной» мотивикой:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухших желез.

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей... (8).

(Отметим попутно в этом стихотворении черты другой, исповедально-биографической традиции в изображении «петербургского ребенка», о которой речь впереди).

Второй выход — в шутивную поэзию не столько пародийного, сколько шаржированного характера. Таково написанное в те же 1930-е годы, что и мандельштамовский «Ленинград», стихотворение эмигрировавшего сатириконца В.И. Горянского «Петербургское дитя» (1934), одновременно утрирующее тип и снимающее столь характерный для XIX века трагически-сентиментальный пафос.

Петербургское дитя родится.
Поглядеть —
Никуда не годится!
Цветом зеленое,
Подобное малахиту,
К насморку склонное,
К бронхиту,
Рахиту.
К кашлю, чиханию,
Неправильному дыханию,
И наконец — к икоте
На самой высокой ноте,
Ибо построен Санкт-Петербург
На чухонском болоте,
Где из климата
Все приличное вынуто;
И остались туман да дождь,
Папоротник да хвощ,
Ель да осина,
Топь да трясина,
Мякоть-слякоть,
Лечь да плакать...
А вот, лоб окрестя,
Растет петербургское дитя.
И в результате явление
Необычайного сопротивления.
Худосочен, крив,
Малого роста.
Но ему тиф — не тиф,
Оспа — не оспа,
Лихорадка — не лихорадка,
Ничто не гадко.

И дело совсем не серьезное
Воспаление крупозное;
Скажи — чахотка —
Улыбнется кротко.
Скажи — скарлатинка —
Та же картинка.
И как бы ни ломался теперь Париж —
Петербургца не удивишь.
Ходит он, осени рад
И полон веры,
Что ему сам черт не брат —
Вплоть до холеры (9).

Хронологически следующий тип «петербургского ребенка» исповедально-биографического плана намечается и формируется уже в конце XIX века. Здесь опять можно вспомнить «Портрет» А.К. Толстого; в лирике 1880 — С.Я. Надсона («Дитя столицы...», 1884):

Дитя столицы, с юных дней
Он полюбил ее движенье,
И ленты газовых огней,
И шумных улиц оживленье,

Он полюбил гранит дворцов,
И с моря утром ветер влажный,
И перезвон колоколов,
И пароходов свист протяжный... (10).

Несмотря на то что повествование ведется от третьего лица, здесь очевидно биографическое начало, чистый лиризм личных детских впечатлений.

И далее, на протяжении XX века, именно это качество, укрепляясь, постепенно сформирует личностно-биографический извод «детского» петербургского текста. Однако прежде чем мы к нему перейдем, нужно остановиться на совершенно особом явлении в русле нашей темы — героях К.И. Чуковского.

В 1917 г. сообщество поэтических «петербургских детей» получило пополнение за счет героев знаменитой сказки Чуковского «Крокодил» — Вани и Ляли пополнение заметное — благодаря популярности сказки и своеобразности персонажей. Второе относится, конечно, прежде всего к Ване Васильчикову. Соотнесенность со сложившимся к этому времени типом петербургского

ребенка можно уловить, и то лишь отчасти, только в изображении «девочки Лялечки». Хотя она вполне здорова и изначально благополучна, но по сюжету все же выступает как главное страдающее лицо, жертва — ее, мирно гуляющую с куклой, похищает «страшная горилла», с чего, собственно, и начинается интервенция Петрограда.

И сюжетная судьба Ляли в сказке складывается и подается в трагическом ключе, с рефреном «Бедная, бедная Лялечка!»

...Боже, какое страшилище! Ляля бежит и кричит.
Глядь, перед ней из-под мостика высунул голову кит.
Лялечка плачет и пятится, Лялечка маму зовет...
А в подворотне на лавочке страшный сидит бегемот.
Змеи, шакалы и буйволы всюду шипят и рычат.
Бедная, бедная Лялечка, беги без оглядки назад! (11).

Далее (в ранней редакции):

...Рыскают звери по городу, хватают, глотают детей.
Бедная, бедная Лялечка! Смилуйся, Боже, над ней! (12).

Другое дело — Ваня Васильчиков. Его фигура и амплуа — героические, он «спаситель Петрограда от яростного гада», «боец, молодец» (13) не только единственный, не побоявшийся вначале Крокодила, а потом и всего его войска, но и воплотивший в жизнь идею общего братства людей и выпущенных из зоопарка зверей. Такого петербургская поэзия еще не знала.

Объяснение феномена Вани Васильчикова следует искать, конечно, в жанре и адресате произведения: это сказка для детей, причем, по словам самого Чуковского — «поэма героическая, побуждающая к совершению подвигов» (14). Такой герой здесь был необходим.

При этом чуткость Чуковского к поэтическим традициям проявилась в различиях авторской подачи Ляли и Вани. Ляля — именно петроградский ребенок, плотно вписанный в контекст города. Она живет и гуляет на Таврической улице, у нее есть мама, которая ждет ее и переживает из-за ее исчезновения. Характерно, что у Ляли был конкретный прототип, о чем писал сам Чуковский в своих дневниках: это дочь Гржебиных — издателя Зинаида Исаевича и его жены Марии Константиновны, «очень изящная девочка, похожая на куклу». «Когда я писал: “А на Таврической улице мамочка Лялечку ждет”, — свидетельствует Чуковский, — я ясно представлял себе Марию Кон-

стантиновну, встревоженную судьбою Лялочки, оказавшейся среди зверей» (15). Да и имя «Ляля» — характерно петербургское.

Ваня же в тексте сказки гораздо более самодостаточен. Никаких упоминаний о его семье и доме нет, его независимость и самостоятельность подчеркнуты уже экспозиционно: «он без няни гуляет по улицам». Это — герой поистине народный, от городской конкретики дистанцированный. И имя "Ваня" — общенародное, характерное для фольклорного героя.

В перспективе петербургского поэтического текста он остался, по-видимому, одиноким.

Что же касается исповедально-автобиографического типа петербургского «я-ребенка», на котором теперь сосредоточимся, то он, как представляется, складывался спонтанно, вне прямых литературных влияний, но под влиянием жизненного культурного контекста.

Восходящий к концу XIX века, он, как казалось бы, должен был проявиться особенно сильно в эмигрантской поэзии. Однако тема петербургского детства представлена в ней на редкость скупо. В ностальгические поэтические сюжеты входят воспоминания, связанные с юностью, молодостью — и почти никогда не живописуется детство (в отличие от прозаических). В общий поток воспоминаний оказываются лишь иногда вкрапленными отдельные детали, атрибуты детства («горячее молоко», «форум из кубиков», «угол в детской» — К.Б. Бабкина «Стихи о Петербурге», 1921 (16); «кулак, запачканный в чернилах», «хлястик... на шинели серой» — М.П. Струве поэма «Юность» (17). Если же память о петербургском детстве все же возникает, как, например, в стихотворении В.И. Лурье «Я ли это!», то главной его чертой оказывается контрастная противопоставленность последующей жизни автора: петербургское детство оторвано от нее, предельно отстранено, уже как бы чужое:

Я ли это маленького роста,
С челкой длинной, в платье шерстяном,
Там жила у Чернышева моста
И в окно поглядывала днем

На лотки с намоченною сливой —
Лакомство любимое ребят.
К девочке у Финского залива,
Память, приведи меня назад.

Помнится мне сквер Екатерины,
 Площадь Театральная, и там,
 В будке «Гала-Петер», апельсины.
 Невский в солнце помню по утрам.

С каждой улицей и с каждым переулком
 Столько связано! Довольно, замолчи!.. (18).

Принципиально иной предстает детская тема в творчестве поэтов-петербуржцев XX века, не покидавших своей страны. Для них детство, связанное с Петербургом, осмыслено как жизненный фундамент, определивший систему координат и самое миропонимание.

При всем различии авторских индивидуальностей, это единство позиции формирует сходную поэтику: они последовательно и настойчиво увязывают впечатления ранних лет с обликом города в его узнаваемом развороте, топонимических деталях, богатстве мифов и реалий. При этом характерно, что богатство это не столько живописуется, описывается, сколько создается поэтикой детали, намека. Это — камерные стихи, тихие герои, переживающие мир с не выразимой словом глубиной и полнотой. Таков интеллигентный автобиографический герой-ребенок А.С. Кушнера, А.А. Городницкого, В. Шефнера, М. Яснова.

Выраженный в поэтических текстах взгляд персонажа — очень личный, но лишенный стремления к самовыделению. В тексте или подтексте всех этих стихотворений прочитывается характерное «мы», которым обозначено кровное братство выросших в этом городе:

Как клен и рябина растут у порога,
 Росли у порога Расстрелли и Росси,
 И мы отличали ампир от барокко,
 Как вы в этом возрасте ели от сосен.
 Ну что же, что в ложноклассическом стиле
 Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане
 Сгустившемся, глядя на автомобили,
 Стоит в простыне полководец, как в бане?
 А мы принимали условность, как данность.
 Во-первых, привычка. И нам объяснили
 В младенчестве эту веселую странность,
 Когда нас за ручку сюда приводили... (19).

Сама интонация этого монолога, как кажется, звучит в унисон с воспоминаниями Городницкого, например о Соловьевском саде:

...В саду чередовались свет и тень.
По узкому пустому переулку,
В числе других присмотренных детей
Меня туда водили на прогулку...(20).

В жизни этих героев Петербург—Ленинград занимает не просто уникальное, но определяющее место. Его улицы, сады, дома, самые незначительные детали оформления этих домов становились воспитателями, учителями:

...Спасибо за цветы на лестничных перилах!
Гирлянды и жгуты чугунные за милых
Наставников сойти в младенчестве смогли,
Воспитывая глаз, и все, что было в силах,
Все делали для нас, в ущерб и пыли
(А. Кушнер «Наш северный модерн...»(21)).

Незаменимые приметы города выступают ориентирами в мире детства героев:

Приятель жил на набережной. Дом
Стоял, облитый тусклым серебром,
Напротив Петропавловки высокой.
К столу присядешь — невская вода,
Покажется, вот-вот войдет сюда
С чудной ленцой, с зеленой поволокой... (22).

...Ветра неевского свирепость.
Детство ясное мое!
Петропавловская крепость,
Золотое острие! (23).

Та же органичная, родственная близость к городу — у Городницкого.

...Закутанный в дожди и холод
Фасад Петровского дворца
Стал для меня еще со школы
Привычным, как лицо отца.

Над городом, войной разбитым,
Светлело небо по ночам.
Он был мне каждодневным бытом,
И я его не замечал.

Атланты, каменные братья,
И кони черного литья —
Без них не мог существовать я,
Как без еды или питья... (24).

При всей конкретике, узнаваемости и достоверности реалий, город не ограничивает кругозор героя, не изолирует его от мира, но организует его мироощущение, задает точку отсчета, жизненную позицию.

В соответствии с ней, даже «запутавшись» и плача «меж Невой и Невою, /Вблизи трамвайных линий и мечети», он, этот — уже выросший — герой, «не мыслит счастья без примет /Топографических, неотразимых» (25). Потому что

...Из Ленинграда трудно видеть мир
Устроенный не так же, а иначе...

...Когда на Мойке смотришь из окна
И видишь шпиль, мерцающий над крышей,
И грохот пушки полудневной слышишь,
Тебе другая местность — не нужна .. (26).

Резюмируя сказанное и сопоставляя эти два исторически сложившихся типа «петербургского ребенка», XIX и XX вв., нельзя не обратить внимание на то, что они во многих отношениях взаимно противоположны, зеркальны. В первом случае герой подан извне, объективирован; во втором — предельно субъективизирован. Образ города, изначально фантазмагорический, трансформируется во втором случае в узнаваемый, реально-документальный. И, наверно, главное: если в первом случае город и личность противостоят друг другу (город подавляет героя, деформирует его жизнь и судьбу), то во втором — город и герой гармоничны, взаимнонеобходимы. Таким образом, кардинально меняется онтология сюжета. А соответственно и образ города, его поэтика и сущностное содержание; они живут, преображаются, и векторы этого процесса, как высняется, способны к переориентации.

Примечания

В основу статьи положен доклад, прочитанный на международной научной конференции «XIII Славянские чтения» (Даугавпилс, 2008).

1 Петербург в русской поэзии XVIII – первой четверти XX века. СПб., 2002. С. 134.

2 *Лермонтов М.Ю.* Полное собрание сочинений. Поэмы и повести в стихах. Л., 1941. Т.II. С. 435.

3 *Табориская Е.М.* «Уединенный» ребенок (Петербургский текст в поэмах Лермонтова «Сказка для детей» и Толстого «Портрет») // Табориская Е.М. Статьи о русской поэзии XIX–XX вв. СПб., 2010 (в печати).

4 Петербург в русской поэзии... С.229–232.

5 Там же. С. 206–207.

6 Там же. С. 293.

7 Там же. С. 372.

8 *Мандельштам О.Э.* Стихотворения. Л., 1979. С. 150.

9 Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна) СПб., 2006. С. 221.

10 Петербург в русской поэзии... С. 264.

11 *Корней Чуковский.* Стихотворения. СПб., 2002. С.74.

12 Там же. С. 384.

13 Там же. С. 65–67.

14 Там же. С. 28.

15 *Корней Чуковский.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 439.

16 Петербург в поэзии... С. 130.

17 Там же. С. 449.

18 Там же. С. 340.

19 *Кушнер А.* Канва. Из шести книг. Л., 1981. С. 195.

20 *Городницкий А.* Перелетные ангелы. Стихи и песни. Свердловск, 1991. С. 110.

21 *Кушнер А.* Избранное. СПб., 1997. С. 270.

22 *Кушнер А.* Канва.... С. 39.

23 Там же. С. 19.

24 *Городницкий А.* Перелетные ангелы... С. 109.

25 *Кушнер А.* Избранное... С. 212.

26 *Городницкий А.* Перелетные ангелы... С. 143.